

АЛЕСЬ ЖУК

Дачный туман

Рассказы

Антракт

Они встретились через много-много лет в театре. Во время антракта они сидели друг против дружки за красным столиком в буфете. На столике между ними стояла массивная вазочка синего стекла, увенчанная белыми зубчиками бумажных салфеток. Они молча жевали бутерброды с подсохшей колбасой. Разговора не получалось.

Ему вспоминалось, как в студенческие годы они вместе приходили в этот театр и как он сразу же после звонка на антракт бежал занимать очередь в буфете, покупал ситро и бутерброды с колбасой, которые они жадно съедали и улыбались друг другу глазами. Вазу обычно отодвигали в сторону.

Молчание затягивалось, надо было начинать разговор.

— Волосы у тебя поредели, поседели. Ты все пишешь? — первой заговорила она.

— Стареем, ничего не поделаешь. Семья, дети, семейные и несемейные заботы, поэтому умный волос и покидает глупую голову, — попытался он перевести разговор в шутивное русло. Украдкой он наблюдал за ней.

За время, пока не виделись, она почти не изменилась, только покруглела немного, подобрела, и к уголкам губ, которые она теперь красила густо и ярко, сбегали две глубокие тоненькие складочки.

Прозвенел звонок, и они с облегчением быстренько встали.

— Возьми, если хочешь, адрес. Может, и зайдешь когда.

— Не стоит, и муж еще что-нибудь плохое подумает, — замялся он.

Она покорно наклонила голову.

— А ты не изменился...

Она повернулась и пошла — растерянная, задумчивая, даже забыла попрощаться...

Когда-то, давным-давно, у него, как и у каждого человека, была своя сказка и свой маленький мир, который потом называют детством. И там была его деревенька, у леса, на пригорке, школа в деревне за пять километров, в которую ходил синеглазый мальчишка, которому нравилось быть первым, под его командой мальчишечья ватага строила в лесу шалаши, он был командиром игр «в войну». И разве мог он признавать девчонок за равных, водиться с ними, и разве не оскорблением было сидеть в классе за одной партой с девчонкой, что проделали с ними учителя в пятом классе. К тому же девочка эта любила подразнить и ущипнуть его. Однажды он ударил ее за это, и их долго мирила классная, добродушная пожилая женщина.

...Набирала силу осень. Пришло время туманов, за которыми не было видно, когда восходит солнце, когда заходит, — только грустная мокрая серость и в лесу шелест падающих листьев да предчувствие солнечных, ослепительно догорающих осенними листьями дней.

Им, девятиклассникам, организовали поездку в Ленинград. Ехали на грузовиках, крытых брезентом. И когда в своей деревне Марыся в осеннем пальто, в платочке, повязанном под подбородком, залезла в кузов и оглянулась, куда

сесть, он подвинулся и прижал ладонь к скамейке, указывая на свободное место рядом. И она прошла к нему и села рядышком.

А потом было бесконечно долгое шоссе до Ленинграда.

Он почти не спал в темном кузове и ночью — мальчишки разбили лампочку, чтобы можно было целоваться с девчонками, — слушал, как поют по асфальту колеса, свое одиночество, приятную тяжесть ее головы у себя на плече. Пряжка ее волос касалась его щеки и губ. Он держался, чтобы не заснуть, не уронить ее голову со своего плеча, чтобы она не проснулась. И не мог осознать непонятной своей заботы.

Он почти не спал всю дорогу и чувствовал, как запали и стали сухими и горячими его глаза, и она укладывала его голову к себе на плечо и заставляла дремать...

В Ленинград въезжали вечером. Сиял огнями иллюминации Невский — был канун Октября, и поездка была задумана, чтобы посмотреть праздник в Ленинграде. И только там он отважился впервые поцеловать Марысю. Она покорно отклонила голову и закрыла глаза. В этот момент кто-то уронил за борт пустую бутылку, которая глухо треснула об асфальт, зазвенев осколками. Он вздрогнул от неожиданности, а Марыся только улыбнулась и погладила его по щеке.

Жили они в небольшой гостинице Кировского рынка, и добродушная женщина-администратор позволяла им вечером смотреть телевизор в красном уголке и даже устраивать танцы. Она любила смотреть на танцующих, стоя в дверях, на баяниста, и сетовала, что не может определить сына в музыкальную школу. Он танцевал с Марысей под популярную тогда песенку о капитане и девушке, которым никогда не быть вместе, потому что девушка — «мисс из богатой семьи и английского лорда невеста».

Случалось, они с Марысей убегали с танцев, закрывались в ее комнате, в темноте ели виноград и целовались, целовались... А за окном необыкновенно красиво светили фонари.

И уже много лет спустя, когда ему на глаза попала старая фотография — он с друзьями у памятника Петру I, — он был необычно и приятно поражен: с фотографии на него смотрел рослый и красивый своей худощавостью юноша. И Ленинград до этого времени помнится прежде всего пожатием ее тоненьких пальцев, тихой, счастливой и немножко тревожной радостью, которая тогда переполняла его, и непонятной легкой грустью. Он так и остался для него в памяти городом тихой и сокровенной радости.

Другой город, город их студенчества, тоже поначалу радовал, пока не надоели театры и кино. Он уже знал, что в воскресенье пойдет к ней на квартиру, потом они пойдут в столовую, потом в кино или в театр, вечером, возможно, сходят в парк на танцы, потом проводит ее домой, и они привычно разойдутся. Он будет один идти по городу и ненавидеть свою желтостенную скворешню — комнату в общежитии. Он замечал, что и Марысе тоже скучно.

Он устроился на работу в редакцию и перевелся на заочное отделение, снял уютную комнатку в частном доме и об этом пока ничего не говорил Марысе.

В тот день он пришел к Марысе, когда она его не ждала. В комнате, которую снимали Марыся с подругой, были еще две девушки с ее курса. Одна из них сидела на табуретке, и ей в четыре руки взбивали прическу.

Марыся была в платье с блестками, глубоким декольте и обнаженными по плечи руками.

Она явно растерялась, натянуто заулыбалась, поспешно усадила на кровать, присела рядышком. Он сказал ей, что устроился на работу, что снял просторную и светлую комнату в хорошем доме. Она слушала его, оглядывалась на

подруг и вдруг начала говорить, что ей неудобно перед подругами не пойти на вечер. Он слушал и чувствовал, как что-то стынет в нем и будто пронзает грудь острым холодком. Он обреченно понял, что она и не увидела, и не почувствовала, что он звал ее навсегда. В голове стоял легкий звон, словно где-то далеко-далеко, глубоко-глубоко звонили колокола... Он сказал, что в таком случае не идти на вечер нельзя, никак нельзя. Даже проводил девушек к автобусу. Марыся держала его под руку и все говорила, как ей неудобно, что идет без него, и его подмывало сказать: хорошо, что она это чувствует, но боялся, что вместо издевки в голосе прозвучит беспомощность.

И когда девушки бросились бежать на остановку к подходящему автобусу, он тоже дернулся, но потом вдруг вспомнил, что ему на этот автобус не надо, остановился, махнул рукой.

Было безлюдно на улице, прижимал морозец, дул пронзительный ветерок, пахнувший ледяным холодком снега. Сухо белели тротуары. И ветерок подхватывал пыль, закручивал вихрем, как февральская вьюга мелкий снежок.

Впереди посреди улицы шла одинокая парочка: он в шляпе и расклешенных штанах, и она в пальто, перетянутом пояском, с высокой прической, закутанной легкой шалью. Его рука лежала у нее на плече, и он время от времени прижимал ее к себе и целовал. Ее рука в ответ легонько поглаживала его по спине, и в свете фонарей у нее на пальце поблескивало колечко.

Почему-то вспомнилось, как они с Марысей оставались одни в комнате у него, когда ребята разъехались на каникулы. В тот день густо шел снег, и он сказал, что она останется ночевать у него. В ответ между поцелуями она тихонько прошептала:

— Не надо, дурачок.

И это «не надо» прозвучало ласково и стыдливо как согласие, но он не настоял.

Парочка свернула в подъезд, и он остался один на улице. Стало еще неуютнее и одиноко на этом ветре, и не хотелось спешить на квартиру, в которой стоял накрытый на двоих стол. И остро по сердцу резанула мысль, что этот столик должен был быть накрытым тогда, в комнате общежития.

Он знал, что придет еще к Марысе, что они еще будут встречаться, и знал, что все уже кончено.

Через месяц он уехал на Полесье заведующим сельхозотделом в районную газету.

...Сигарета прижгла пальцы, и он спохватился, что в буфете нельзя курить, виновато оглянувшись: буфетчица стояла, облокотившись на прилавок, и сочувственно смотрела на него. Он почувствовал себя неудобно, словно эта добрая женщина подсмотрела все то молодое, что припомнилось ему, старому. Спектакль продолжался, шло второе действие. Он загасил окурок о каблук, сунул его в карман и пошел к выходу по мягкому ковру, который заглушал его шаги и под которым, словно ему было больно, сухо потрескивал паркет.

Дачный туман

Першаю и во сне не могло присниться, что в его возрасте с ним может случиться такое. И не в экзотических санаторно-курортных местах, что бывало иногда в молодости, а среди перелесков, в небольшом дачном поселке. А началось все с того, что товарищ по работе пристроил его на «халтурку». Отпуск Першаю пришелся по графику на вторую половину ноября. Путевка в санаторий старшему научному сотруднику

была не по карману. Василь любил иронизировать, что его поколению на жизнь пришлось одни нестыковки: послевоенная бедность, а когда завелись деньги, пришло время дефицитов, когда надо было не покупать, а уметь доставать. Потом после всех ускорений и перестроек, после инфляций всего стало хватать. Но это для тех, кто успел нахапать денег... Много изменялось в жизни, но не менялись обвинения жены, что он не умеет «жить, как все нормальные люди», только испортил ей жизнь — за что любить такого? Василь давно перестал оспаривать посылы жены, которые были для нее истиной в последней инстанции, даже перестал с иронией напоминать, что если человека любят, то его просто любят.

Василю совсем не хотелось сидеть в лесу на дачах, как теперь называют бывшие садовые товарищества.

Давно городскому человеку, Першаю, не хотелось изменять привычный жизненный уклад. Ему лучше было бы в городе, сходить с друзьями в баню, посидеть своей компанией, привычно посетовать на жизнь, перемыть кости начальству и политикам, тем самым утвердив и свою значимость, и жизненную правоту.

Работа на даче была несложная: отделать вагонкой две комнатки отставному милиционеру подполковнику, тестю друга. Тот оказался человеком компанийским:

— Я, Василь Васильевич, и сам бы эту работу сделал, если бы не мой артрит. А чужого человека в свою хату впускать не хочется. Так когда-то обворованные люди мне говорили: «Да Бог с тем, что пропало, а гадко, что кто-то чужой в твоём доме шарил...»

— Городской человек я, не люблю сидеть один в лесу.

— А надо привыкать. Вы уже с моим Виктором не молоденькие. Год-два, и попросят вас место тем, кто помоложе, освободить. Да и дача отнюдь не ссылка, там иногда и интересные встречи случаются, — подполковник грустновато улыбнулся. — Моя старуха не любит, когда я один на даче остаюсь. Ну, давай, Василь, чарку на согласие.

И действительно, не таким уж и страшным оказалось это дачное одиночество. Василю даже понравилась неторопливая работа отмерять, отпиливать доски, потом набивать их, строго выдерживая вертикаль. Доска приятно согревала древесным теплом руки, еле уловимо пахла хвоей. На даче у подполковника оказалось много книг, был хорошо отлажен телевизор, и погода неожиданно наладилась: появлялось и даже слегка пригревало солнце. Василь несколько раз сходил в лес — светлый, сухой, загадочный, тревожный своей опустошенностью и тишиной. Только неожиданно могла протенькать синичка да неизвестная Василю птица, попискивая, пробегала сверху вниз по стволу дерева. Осень была негрибная, а потому и в лесу — безлюдье.

Где-то через недельку навестить Василя и привезти продуктов приехал товарищ, и они уютно и спокойно наговорились за день. Назавтра Василь с охотой взялся за работу, уверенный, что за недельку окончит ее и вернется в привычную городскую жизнь.

Василь услышал, как коротко и легонько постучали в дверь, и она сразу же открылась, женщина уверенно зашла в комнату, спрашивая на ходу:

— Можно, Иван Петрович?

И только потом увидела Василя и на какое-то мгновение смутилась. Была она выше среднего роста, в спортивном костюме, коротко стриженная, моложавая с лица, легкая и мягкая в движениях.

— Ой, извините, что так ворвалась! Думала, Иван Петрович...

Она быстро справилась с собой, взглянула зелеными улыбчивыми глазами, будто сфотографировала Василя. И лицо ее было улыбчивым. Есть такие люди, на лице у которых всегда будто живет доброжелательная улыбка.

— Я удивилась, что Иван Петрович в такое время приехал...

Женщина говорила потому, что надо было что-то говорить, и сама присматривалась к Першаю. И ее доброжелательная улыбка обязывала к доброжелательности и к ней самой.

— Нет. Я временный раб Ивана Петровича, — ответил Василь, чувствуя, что и сам улыбается и старается вести разговор в унисон с незнакомкой.

— Ну, на раба вы не похожи...

Женщина уже открыто и спокойно смотрела на Першая, и Василь почувствовал, что он понравился женщине, да и она была приятна ему своей раскованностью, мягкой улыбчивостью.

— Я соседка, Галина Ивановна, лучше просто Галя. А отец когда-то называл меня Галю, — женщина протянула руку.

— Василь, — торопливо ответил Першай и шагнул навстречу. — Проходите, чего стоите в пороге.

Рука у женщины была неожиданно теплая и по-детски маленькая.

— Только отрываю вас от работы...

— Ну, это слишком — работа. Да и куда она убежит от меня. Спешить мне некуда.

Василю был приятен этот необязательный разговор.

— Нет, зимой тут нечего делать. Снег, только снег, много снега...

Лицо Галины сделалось серьезным, будто воспоминание о зиме огорчило ее. В уголках губ обозначились глубокие складочки. Это было уже не лицо совсем молодой женщины, как показалось вначале, была на этом лице и горечь, припрятанная до поры до времени, которой метят прожитые годы.

— Домик мой рядом, за оцинкованной сеткой. Я не заядлая дачница. Изредка приезжаю сюда, чтобы побыть одной, посидеть у камина... Вы любите сидеть у огня? — неожиданно спросила Галина.

— Я не охотник и не рыбак. Даже не грибник. Костры мы в детстве жгли. А теперь я горожанин, давно уже.

— А я и родилась в городе. Но посидеть у камина люблю, на даче специально сделала. В огне что-то есть такое... — Галина говорила задумчиво. — У Ивана Петровича камин ради декорации. За дачными заботами некогда жечь. Может, когда был на службе, наезжали с друзьями... А приходите сегодня ко мне в гости. Будет камин. Вдвоем веселее и у огня сидеть, — Галина внимательно посмотрела на Першая. — Заодно и розетку посмотрите. Надоедает вставать и поправлять ее. Хотя телевизор я смотрю редко.

— Посмотрю, — ответил Василь.

— Не спешите, заканчивайте работу. А я камин разожгу.

Женщина легко закрыла за собой дверь.

Василь, стараясь не спешить, приколотил оставшиеся доски. Потом тщательно вымыл руки, переделся в спортивный костюм, посмотрелся в зеркало и поймал себя на том, что и ему хочется быть таким же легким и быстрым, как и эта неожиданная Галина Ивановна, которая вдруг появилась в этом дачном одиночестве. Взял плоскогубцы, отвертку.

Калитка во двор была приоткрыта, приоткрыта и дверь веранды, чтобы полоска света падала на выложенную из бетонных плиток дорожку. Его ждали.

Дверь веранды он закрыл за собой, легонько постучал в дверь в дом и сразу же услышал:

— Заходите, заходите!

В довольно просторной комнате-прихожей в камине горел огонь, и от него уже шло приятное тепло. Приглушенно светил торшер. У прямоугольного невысокого столика стояли два кресла. На невысокой тумбе тихонько играла магнитола, чувствовалось, что у этого столика любили сидеть подолгу.

На столике уже стояли тарелки с бутербродами, овощами, фужеры. В комнате приятно пахло легкими сигаретами. Галина Ивановна держала сигарету в двух пальцах и показалась Василию немного повеселевшей и скорой в движениях. И в глазах ее светились дерзкие, азартные искорки.

Василь почувствовал, что и ему хочется говорить шутливо, под ее настроение.

— Ну, так где объем работ?

— А, — улыбнулась Галина, легко махнула рукой в сторону комнаты, открыла дверь, зажгла свет. В углу на столике стоял телевизор, у одной стены два кресла, у другой — диван-кровать, небольшой зеленый коврик возле нее, под окном журнальный столик.

— Телевизорная розетка. Свет надо выключать?

— Нет.

— Тогда я займусь ужином.

Василю приятно удивила неперегруженность комнат мебелью, за этим чувствовался вкус.

Василь снял крышку розетки, поджал контакты — не так уж они были и разболтаны.

— Так быстро?

Галина казалась еще более повеселевшей.

— Руки помойте на веранде, там кран.

Василь мыл руки и думал, что Галина Ивановна не из тех женщин, что любят стоять на кухне, ужин ее был довольно холостяцкий.

Когда он возвратился к камину, на столике уже стояла бутылка коньяка, вился легкий сигаретный дымок.

— Ничего, что я курю?

— Наоборот, мне приятно.

— Тогда садитесь и наливайте.

И сама первой села в кресло, переключила магнитолау на тихую музыку.

— За знакомство, — предложила она, выпила легко, будто смахнула коньяк из рюмки.

— У тебя семья? Дети? — спросила она и, не ожидая ответа, сказала: — У меня тоже. Дочь взрослая, живет отдельно. Ты где работаешь?

— В академии, кандидат наук, а проще — наукаб. — Василию хотелось говорить легко и с иронией. Эта незнакомая женщина не смутила его. Ее открытость и легкость передалась и ему.

— А я была экономистом. В ту заваруху дамский салон открыла. Не ахти что. Но довольно прилично. Держусь и по сей день на плаву. А мой ученый айсберг информационными технологиями занимается, довольно солидная фирма. Но для меня это сплошная тьмутаракань.

Она уже сама подливала коньяк в рюмки, и Василь охотно выпивал, ему делалось еще свободнее и легче, он вдруг с удивлением увидел, какие у нее глубокие, необычайно зеленые, с искоркой глаза. Рука его сама потянулась за сигаретой, Галина щелкнула зажигалкой. Ей уже хотелось говорить.

— Знаешь, я все время на работе, на людях. Не знаю, как ты со своей наукой носишься, какой ты семейник. Но мой, это такой самоуверенный айсберг... Боже, и сколько я об эту льдину буду разбиваться! Сама виновата, я за ним еще со школы бегала. И всю жизнь разбиваюсь об эту льдину... Отплыву, отогреюсь, оживу. Он, видите ли, уверен в моей верности! А я знаю, я каждую клеточкой чувствую, что ему все равно, он хорошо усвоил, что я его собственность и никуда от него не денусь. Столько есть хороших мужчин, которые бы меня любили, а я...

Женщина смотрела куда-то мимо Василя, и горькие складочки глубоко легли в уголках губ. Сигаретный дымок седой струйкой касался ее волос. Зеленые глаза ее были совсем трезвые.

— А ты счастлив, Василь? Ты любишь и тебя любят? — неожиданно спросила она и, не ожидая ответа, отрицательно покачала головой.

Василь не попытался что-нибудь сказать, он вдруг понял, что и сказать-то ему нечего, да и ответа от него не ждали. Эту незнакомую женщину нельзя было обмануть.

Некоторое время они сидели молча, курили, как давно знакомые люди.

Потом Галя улыбочиво и горько сказала:

— Ну вот, пригласила в гости и на тебя своей тоски нагнала... Извини.

Коротко чокнулась, выпила, повернулась к магнитоле, добавила звук.

— Давай потанцуем. Я давно не танцевала.

Василь подумал, что он вообще не помнит, когда танцевал, что он уже изрядно захмелел, но встал ей навстречу и сразу же почувствовал ее всю сквозь спортивный костюм, покорную и послушную, легкую. Ему вдруг стало просто и светло от ее тепла, а музыка тем временем вела их в танце к двери в соседнюю комнату. Она, не отстраняясь, щелкнула выключателем, закрыла дверь. Василь чувствовал, что растворяется, пропадает в ней, и она сливается с ним и пропадает в нем, и от этого ощущения невыносимо сладко щемило сердце...

Потом она затихла при нем, прижалась лицом к плечу, и он почувствовал, что лицо ее мокро от слез. Он повернул голову, сцеловал ее слезы, и она в ответ сухо, горячо и коротко поцеловала его в губы, положила руку на грудь и сразу же затихла, ровно задышала в плечо. И Василь почувствовал, что засыпает и сам...

Проснулся он с чувством наполненности этой удивительной зеленоглазой женщиной, которая любила такой любовью, которой он не знал никогда.

Рядом никого не было. Он быстро поднялся, вышел из комнаты. На столике у камина стоял электрочайник, кофе, бутерброды на тарелке, коньяк и белела записка на листке бумаги: «Василь, закрой дачу и ворота».

Першай не спеша возвратился в комнату, застелил кровать, потом включил электрочайник. Пока тот закипал, умылся на веранде, потом пил кофе, выкурил сигарету, убрал в сервант посуду, положил в карман записку, еще раз осмотрелся, все ли в порядке, и вышел в туманное осеннее утро.

Было тихо, и в этой тишине все было спрятано в ровный глухой туман.

К вечеру, работая в помещении, он помимо воли прислушивался, хотя и знал, что ничего не услышит, что никакой машины больше не будет. Будет только этот осенний туман и незнакомая доселе сердечная тоска о том счастье любви, которое могло бы быть в жизни. А теперь словно крошечный осколочек его засел под сердцем и время от времени будет щемить до конца дней. И ему, как сестру, было жалко зеленоглазую женщину, которой не суждено найти успокоения и никогда не быть счастливой.

Чистый лист

I

Ночью ему приснился большой рыжий кот. Тот самый кот, что жил у них до войны и с которым любил играть сын. Тихонько так прыгнул кот с пола на кровать и пошел, осторожно ступая по ногам, лег на грудь, вытянул лапы, выпустил когти, начал вонзать в кожу и все мурлыкал, мурлыкал, а когти больно ранили тело; глаза у кота вдруг вспыхнули, уши прижались, он дико мяукнул, раскрыл неожиданно большой рот с желтыми зубами...

Алесь Павлович в ужасе закричал и проснулся. Даже рукой махнул, чтобы отогнать кота. В комнате было темно и глухо. У кровати на маленьком коврик лежал рыжий кот.

Алесь Павлович лихорадочно зажег ночник: на коврик были его комнатные тапочки.

— Черт знает что! — произнес он вслух, но заснуть больше не мог.

Было больно в груди. Он набросил пижаму, сунул ноги в холодные тапочки, зажег свет, нашел в кармане пачку сигарет.

Было слышно, как далеко внизу на улице стучали штангами на стрелках троллейбусы. Алесь Павлович жадно затаился, но легче не стало. Он прислушался к себе самому и вдруг почувствовал, что может вот так вдруг и умереть. От этой простой мысли у него даже похолодели ноги — такой реальной и близкой вдруг показалась смерть.

Да и сам он вдруг увидел себя со стороны, немного сутулого, невысокого ростом, полного старика с бледным лицом, как и у каждого комнатного человека. Алесь Павлович понимал, что время делает свое дело, что молодое становится старым, несимпатичным и беспомощным, злым и смешным. Старость красива по-своему, это кто до какой старости дожил. Алесь Павлович был уверен, что у человека, который прожил добрую жизнь, и старость добрая и красивая. Но все его мысли и наблюдения над стариками были интересны тем, что стариком он себя не считал и смотрел на стариков, как смотрят молодые. И вот сегодня вдруг в той толпе стариков, к которой он иногда присматривался опытным взглядом художника, он признал и самого себя — обыкновенного старика, полноватого, который все знает по жизни и готов выдать свои категорические суждения.

Алесь Павлович даже хмыкнул — так ясно увидел себя на общем фоне. И чтобы уже до конца все расставить на свои места, бросил взгляд на себя молодого — а не такой уж ты был молодец и в молодости. И увидел себя в тесной комнатухе, которую он громко называл мастерской и где тесно было, не повернуться. Он приглашал к себе начинающих. Возникали споры, которые иногда доходили до ссор. Он любил эти споры, любил говорить заключительное слово. А потом... Или потому, что у него появилась семья, хотя и квартира уже была отдельная, или потому, что молодые повзрослели и стали иметь свое мнение, отличное от его, но собрания у него сами собой заглохли. Он уже тогда набрал вес, руководил искусством, потому уже и не с руки было налаживать на дому попойки с богемой. Он тогда уже знал, что ему надо делать. Ему неприятно было слушать даже дружеские замечания, ибо ему нужно время, чтобы сосредоточиться, перед тем как взяться за главную свою работу, которую он давно вынашивает в душе...

Из тех молодых, кто собирался у него, почти никого и не осталось в живых — погибли в войну, а то и без войны, так и остались вечно молодыми, подающими много надежд. И сам он не раз говорил о них с искренней болью, хотя и начал уже забывать их лица. Все они сливались во что-то одно, молодое, ершистое, которому все можно простить и даже пожалеть. В то время он очень много рисовал. Его полотна, большие, солнечные, с веселыми строителями на лесах, румяными колхозницами у молотилок, белозубыми рабочими у станков были на первом плане на выставках. Он пожинал плоды славы, чувствовал себя большим художником, которому уже и не к лицу влезать в разные там организационные дела. Алесь Павлович с улыбкой наблюдал, как на собраниях спорили и воевали за настоящее искусство, критиковали его картины. Он много помнил, помнил и прежних молодых и знал их печальные судьбы, а потому был уверен, что шумиха минет, а то, что он сделал, останется. Время очередных споров и в самом деле прошло, но и масштабные полотна Алеся Павловича начали исчезать с выставок, а если и выставлялись, то на втором, а то и на третьем

плане. Но если заходил разговор о «том» этапе в искусстве, Алесь Павловича обязательно упоминали.

Он выжидал время, свое время, мудро прогуливаясь утром и вечером по скверу, а по вечерам писал книгу об изобразительном искусстве, в которой все ставил на свои места...

Но теперь, стоя в одной пижаме у окна, не получалось скептического взгляда на свою молодость. Как ни смотри на нее с позиций старости со всеми ее преимуществами, но позавидуешь молодости — и ее холоду, и ее голоду даже.

Назавтра Алесь Павлович опять прогуливался, вечером писал, а ночью ему опять снился рыжий кот, который лазил на кухне, гремел посудой, почему-то гулко топал по полу, как ежик, и сын в одной рубашонке босиком побежал туда, и оттуда послышался крик, завыл волк, хрипло и протяжно...

Алесь Павлович не спал целую ночь. Вспоминалось, как Алешка просил его принести солдатскую звездочку. Город перед этим уже бомбили ночью. Вспомнилась жена, маленькая, худенькая, она все кутала шею воротником платья, словно ей было холодно. Ему тяжело было оставлять ее, такую слабенькую и одинокую. Когда обернулся, увидел, что она все шла вослед, и все кутала шею, а Алешка тащил за собой за хвост своего неразлучного кота. Алешка был рад, что папа принесет ему звездочку.

После войны у него не осталось ни семьи, ни родных.

И боль в груди, и тоска одиночества делались непереносимыми. Не утешали ежедневные прогулки, не хотелось больше писать книгу.

И когда однажды вынул из почтового ящика приглашение в Союз на вечер, обрадовался, будто раньше подобные приглашения не выбрасывал равнодушно в мусорную корзину.

Перед уходом Алесь Павлович еще раз побрился и, красный с холода, в светлом двубортном пиджаке, легко поднялся на второй этаж.

В зал еще не входили. Художники курили в коридоре, перебрасывались шутками. Алесь Павлович молодецкато здоровался со всеми за руку, пытался шутить. Но то ли шутки его были не смешные, то ли уже устаревшие, но на них скупно улыбались и начинали спрашивать о здоровье. Набиваться в компанию ни к кому Алесь Павлович не стал, с достоинством вошел в пустой зал и сел в первом ряду.

Докладчик, один их тех молодых, что когда-то бывали у него на квартире, теперь лысый шустрый дедок, говорил о юбиляре, но выходило, что больше о себе. Немного помнил юбиляра и Алесь Павлович, а потому не удержался, поднялся на трибуну, начал вспоминать, как когда-то учил молодых, в том числе и юбиляра. Зал сначала слушал, потом пошли шепотки, разговоры между собой, и Алесь Павлович быстренько свернулся.

Заключительное слово произносил Кульбицкий. И когда он поднялся за столом президиума, не выходя за трибуну, и говорил, стоя за столом, Алесь Павлович вспомнил, что картины Кульбицкого как выставлялись раньше, так и выставляются теперь и занимают место не на втором плане. Того Кульбицкого, который в рот глядел Алесю Павловичу и славословил его как мэтра.

Теперь он делал заключение, говорил о больших задачах изобразительного искусства, о трудности художественных поисков, высоко оценивал талант товарища, который умер преждевременно. Алесь Павлович усмехнулся: не этот ли Кульбицкий в свое время разделял его за формализм. Он тогда любил выступать в прессе. Теперь Кульбицкий давал объективную оценку, о прошлом не вспоминал, более напирал на талантливость. И получалось, что не умри художник, то и не быть бы ему признанным и талантливым. Но не сам этот факт удивил Алесю Павловича, за свою жизнь он повидал многое, а то, что тот, кто был у власти, остается на плаву, как было и раньше. И не удались он в свое

время в гордое одиночество, то и ему бы сидеть теперь в президиуме. От этой мысли почему-то стало неуютно.

Алесь Павлович еле дождался, пока закончит говорить Кульбицкий, да и зал-то не очень его слушал. А говорил он не спеша, весомо, сняв и держа в руке очки, седовласый, худощавый, уверенный в себе.

Дома Алесь Павлович ходил взад-вперед по кабинету, злясь и на Кульбицкого, и на самого себя. Мало ли что говорили и писали, а картины-то остаются. И не хотелось больше сидеть сложа руки.

До полуночи он перебирал папки с архивами, отложил и хвалебные, и ругательные, оставил только письма, свои дневниковые записи, старые пожелтевшие вырезки из газет времен его молодости.

В шкафу он нашел старый чехол от одеяла, затолкал в него все бумаги и ночью спал спокойно.

А утром был снег. Крупный, плотный. И от него была какая-то сумеречная тишина, словно деревья слушали, как идет снег. Алесь Павлович с аппетитом завтракал, потом взял чехол и отнес в мусорный бак во дворе все свои бумаги.

Когда возвратился в квартиру, уже перед самой дверью грудь проколола острая боль. Он чуть не вскрикнул, только застонал сквозь зубы. В комнате тяжело сел на стул, ожидал, когда отпустит боль. Нет, он не такой глупец, чтобы вот так вдруг отдать Богу душу. Он еще поживет, будет любоваться снегом, увидит, как стынут синие морозы, увидит, как дышат паром в полях разгоряченные лошади с ласковыми заиндевшими пысами, как на солнце изгибисто блестят следы от санных полозьев! И славу свою получит пожизненно, ту, которую он заслужил. А пока он уедет в деревню, на чистый воздух, и там боль в груди уйдет сама, и жить он будет долго.

II

Уже более месяца жил Алесь Павлович в деревне. И за этот месяц привык к своему новому жилью — просторной деревенской хате на краю деревни, к длинному тулупу, который дала ему хозяйка, к большим катаным валенкам, точно таким, какие в партизанах выдавались только часовым.

Он привез с собой старые альбомы с репродукциями своих картин, показывал не только хозяйке, но и всем, кто приходил в гости. Был искренне рад, когда люди восхищались, что можно так нарисовать — «совсем как в жизни».

Теперь Алесь Павлович сожалел, что в последние годы ничего не делал, что потерял так много времени, что не стоял до конца за свое. Но зато теперь он твердо знает, что ему надо делать. Он и на весну останется в деревне, будет убирать в саду, вырезать сухие и ненужные ветви — сад запущенный — и рисовать, рисовать!

Хозяйка не мешала ему. С утра она уходила на работу на свиноферму, приходила только досмотреть по хозяйству — и опять на работу.

Алесь Павлович отрастил бороду и представлял себе, как возвратится в город, не похожий на себя прежнего, с новыми картинами.

Боль в груди прошла. Было на удивление легко и хорошо. Начались морозы, хата за день выстуживалась. Хозяйка залезала спать на печь, а он поверх одеяла укрывался тулупом. Каждый вечер он ходил в клуб читать свежие газеты, и когда возвращался, хозяйка уже спала, ужин ожидал его на столе.

На этот раз он уже засобирался в клуб, когда хозяйка попросила:

— Не спешите, Алесь Павлович, поужинаем вместе.

— Вы сегодня раньше, Лида.

— Подменили меня на работе.

Она вышла в сени и возвратилась с бутылкой водки и салом на тарелке.

— Зачем это, Лида? Я же не пью, — смутился он.

— Немного выпьете, я тоже не пью, — успокоила его женщина, расставляя на столе ужин, и, видя его смущение, объяснила: — Сегодня три года, как мой Антон умер. Я его каждый год поминаю. Только одной начинать тяжело, а потом, когда выпью, наговорюсь с ним...

Хозяйка сразу налила по полной рюмке. Алесь Павлович не отказывался, только подумал, что водка холодная.

— А что случилось с мужем? — спросил он

— Осколок в нем сидел. Он и комбайнером, и трактористом работал. Сам сеял, сам убирал, и так всю жизнь.

Женщина говорила это словно себе самой. Из-под платка выбилась седая прядка. Алесь Павлович почувствовал, что она начинает хмелеть и что он тут лишний.

Домой он шел немного позже обычного. В тулупе, в валенках по узенькой тропинке под заиндевелыми вишнями, по морозному, иссиня-белому снегу. Он думал о человеке, который растил и убирал хлеб, ходил в этом же самом тулупе, и над ним была эта же стьялая звездная бездна. Невольно напрашивалась параллель его судьбы с судьбой хлебороба. И это было приятно. И он уже знал, что нарисует этого комбайнера, в поле, во ржи, нарисует так, что люди будут удивляться великой и мудрой простоте нарисованного! И в этой картине он останется жить вечно назло равнодушной вечности, которая свысока и презрительно смотрит на него холодными глазами звезд.

Алесь Павлович видел уже и солнечный фон своей картины, и счастливую улыбку на лице у человека, и его крепкую фигуру, и счастливые глаза.

На столе в избе было убрано. Хозяйка спала на печи. В тишине только время от времени тихонько жужжал электросчетчик.

Алесь Павлович взял с этажерки настольную лампу-грибок, при которой когда-то Лидин сын делал уроки, достал из чемодана бумагу и карандаши.

Алесь Павлович короткими и уверенными штрихами набрасывал на бумагу эскизы деталей будущей картины. Он уже видел всю картину и спешил зафиксировать основные детали, чтобы не выпали из памяти.

Карандаш опытно и уверенно ходил по бумаге. Алесь Павлович устал, пока окончил, тяжело, с удовольствием поднялся из-за стола, с удовольствием посмотрел на сделанную работу.

Когда хозяйка поднялась, Алесь Павлович не слышал, хотя обычно просыпался.

Женщина долго рассматривала исчерканные листы бумаги, ничего не поняла, покивала головой, взглянула на квартиранта и испугалась: его лицо с высоко поднятой белой бородой и большим лбом показалось мертвенно-бледным, но тут она услышала, что Алесь Павлович тихонько, сладко посвистывает во сне носом, улыбнулась, с облегчением вздохнула, подняла с пола чистый лист бумаги и закрыла им все, что нарисовал квартирант...

Перевод с белорусского автора.

